

Об Ибсене

Говорят, что в глазах своих лакеев великие люди не имеют никакого обаяния. Но зато, с другой стороны, личное знакомство с великими людьми превращало и превращает в лакеев, как о том можно нередко судить на основании относящихся сюда документов.

Норвежский писатель Джон Паульсон\*128, рассказывающий в своих "Воспоминаниях"\* о своих отношениях к Генриху Ибсену, не составляет исключения из этого обидного правила. Так, например, он с глубоким сочувствием приводит слова своего друга, норвежского художника, сказанные после посещения им Ибсена: "Да, видишь ли, в сущности он ничего не говорил, но его манера, как он набивал мне трубку, его взгляд, когда он подавал мне ее, прямо-таки растрогали меня!". Высшую степень душевного лакейства трудно себе представить!

/\* Выдержки из этих "Воспоминаний", напечатанные в своих частях, относящихся к Генриху Ибсену, в III книге "Мир Божий" за 1901 год, и подали нам повод для настоящего "письма".

В общем "Воспоминания" Паульсона дают крайне мало материала для выяснения своеобразной физиономии знаменитого писателя. Сообщаемые Паульсоном факты совершенно незначительны и сдобрены в небольших дозах самодельной философией и в громадных долях душевным лакейством перед "великим соотечественником". Но памятуя, что *la plus jolie fille de France ne peut donner plus que ce qu'elle a* (самая красивая девушка Франции не может дать больше того, что имеет), постараемся воспользоваться тем малым, что дает Паульсон, в связи с тем многим, что дают сочинения самого Ибсена.

"Когда Ибсен, этот великий скептик, потрясший все наши старые идеалы, - за бутафорским пафосом у Паульсона дело не стоит! - высказывал в разговоре одну дерзновенную мысль за другой, г-жа Ли (жена известного норвежского писателя), воспитанная в старой верующей чиновничьей семье, иногда возражала ему, ссылаясь на св. писание". Она видимо считала Ибсена "революционером". Сам Паульсон находит, что революционером Ибсен являлся "лишь в беседах, да в своих произведениях, а никак не в ежедневном своем быту".

Точно ли Ибсен - "революционер"?

Почтенная дама в своем взгляде на Ибсена исходила из сопоставления его взглядов со св. писанием; Паульсон противопоставил "дерзновенные мысли" Ибсена убогим кодексам собственной морали и философии; мы же попытаемся свести "революционные" идеи Ибсена на очную ставку с объективными социально-историческими условиями. Ответ на поставленный вопрос выяснится сам собою.

В 1870 г. Ибсен писал Георгу Брандесу: "Все, чем мы ныне питаемся, лишь крохи со стола революции прошлого столетия, и пища эта достаточно-таки пережевана и пережевана. Понятия нуждаются в новом содержании и в новом истолковании. Понятия "свобода, равенство и братство" давно уже перестали быть тем, чем были во времена покойной гильотины. Вот чего не хотят понять политические революционеры, и вот почему я их ненавижу. Эти господа желают только специальных переворотов, переворотов во внешнем. Но все это пустяки. Переворот человеческого духа - вот в чем дело!". Пока что революционного тут мало...

Паульсон тоже понимает, что хотя "свобода для Ибсена то же, что воздух, но понимает он ее не столько в смысле гражданской, сколько личной. Что толку, в самом деле, - прибавляет Паульсон уже от собственного разума, - обладать правом голоса, если не выработать себе свободы личности?".

Свобода личности! Переворот человеческого духа!.. Но всякие ли общественные условия позволяют выработать "свободу личности", и точно ли "переворот человеческого духа" может быть совершен независимо от внешних условий? На эти вопросы Ибсен не умел ответить: более того, он даже не умел их поставить.

Общественные преобразования Ибсен не ставит почти ни во что. Партии, эти великие культурные силы современности, в союзе с которыми только и можно воздействовать в желательном направлении на общество, Ибсен третирует с презрением одиноко стоящего умственного аристократа. "Партийные программы, -

говорит д-р Штокман, - убивают всякую жизнеспособную истину", и еще сильнее: "партия - это точно насос, которым у людей постепенно выкачивают рассудок и совесть!" ("Враг народа"). Ибсен исходит из индивидуальности и к ней возвращается. В пределах индивидуальной души он разрешает или пытается разрешить все социальные проблемы. Он расширяет и углубляет эту эластичную индивидуальную душу до сверхчеловеческих пределов ("Бранд"), не задевая при этом даже локтем общественной обстановки. В лице Росмера Ибсен хочет "сделать всех людей в стране аристократами духа..., освободив их дух и очистив их волю" (как это определено!), но и в это дело Росмер теряет веру, придя к убеждению, что "люди не могут быть облагораживаемыми извне" ("Росмерсхольм").

В личной жизни сам Ибсен, этот "дерзновенный революционер", этот "великий минус", как называют его соотечественники, покорно склоняется перед условиями, действующими извне: с педантической тщательностью подчиняется он всем условностям лицемерно-благопристойного обихода буржуазной среды. Лишь в созданиях своего духа он стоит "высоко и свободно" (да и то не настолько, как это представляется Паульсону и самому Ибсену!), но "ах... не таков я в обыденной жизни", жалуется он на себя с горечью устами строителя Сольнеса. Как и этот строитель, он "не решается... не может подняться так высоко, как он сам строит"\*.

/\* Не лишено своеобразного значения для характеристики личности Ибсена то обстоятельство, что, покидая с негодованием родину для добровольного изгнания, Ибсен потребовал себе от сейма и получил "литературную пенсию". Трудно, оказывается, усилиями "изнутри", одним "переворотом духа" освободить себя "извне"... хотя бы лишь от унижительной для того же "духа" денежной зависимости!

И в этом - слабость не его собственной индивидуальности, а его индивидуалистической проповеди, его внесоциальной морали или, если хотите, имморали. И если бы только в этой проповеди состояло все значение Ибсена, то - можно смело сказать это - он не имел бы никакого значения.

Ибсен - творец великих, новых слов и дерзновенных идей, Ибсен - пророк обновленного человечества, Ибсен - духовный вождь будущего... и как его там еще величают, этот Ибсен не имеет сотой, тысячной доли того значения, как Ибсен - великий живописатель мещанской среды. Ибсен - художник-отрицатель, "великий минус", стоит бесконечно высоко над Ибсеном - символистом-пророком и вождем. И по натуре своей Ибсен не годится для этой второй роли. "Не могу припомнить случая, - говорит Паульсон, - чтобы у Ибсена когда-либо вырывались восторженные выражения, пылкие слова, которые указывали бы на то, что в его душевной жизни играет особенную роль чувство". Нет, это не вождь! Если освободить "новые слова" Ибсена от туманной, столь подкупающей многих\* символической оболочки, то эти новые слова в большинстве случаев утратят и свою новизну и свою привлекательность. И немудрено. В настоящее время, когда человеческая мысль обладает таким колоссальным, неисчерпаемым в своем разнообразии наследственным и благоприобретенным достоянием, серьезное ценное новое слово можно сказать, лишь став на плечи своих великих предшественников. Между тем Ибсен, по словам Паульсона, "читал крайне мало. С новейшими произведениями изящной словесности и философской мысли он знакомился больше из бесед с другими, нежели путем личного изучения". Гениальный самоучка, без систематического образования, без цельного миросозерцания, он с неуместным пренебрежением относился к плодам чужой мысли.

/\* "Я был хорошо знаком с его произведениями, - говорит Паульсон, - читал и перечитывал их много раз, но не всегда мог проникнуть в их сокровенные глубины... Скольکو воскресений просидел я... ломая голову над каким-нибудь темным местом"... Каким диким представляется нам отношение к художественному произведению, как к ребусу или к апокалиптическим откровениям!

Сродный ему по духу самоучка-строитель, герой цитированной уже драмы, имеющей несомненное автобиографическое значение, спрашивает Гильду, читает ли она. Гильда. Нет. Никогда... больше. Все равно смысла не вижу. Сольнес. Точь-в-точь, как и я ("Строитель Сольнес"). Это пренебрежительное отношение к книгам, а особенно незнание с ними прошло, повторяем, далеко не бесследно для творчества Ибсена: он не дал многого, что мог бы дать. Но, простив ему недоимки, поговорим о том, что он дал, посмотрим, над каким

материалом он оперировал, - а дал он много, работал над материалом, заслуживающим самого пристального внимания.

Каков тот общественный фон, на котором разыгрываются обыкновенно личные драмы героев Ибсена?

Это мирная, неподвижная, застывшая в одних и тех же формах жизнь небольших норвежских провинциальных городов, населенных средней руки мещанством, таким нравственным и благопристойным, таким добропорядочным и религиозным...

О! горький осадок оставила эта уравновешенная провинциальная благопристойность в душе великого драматурга, и вы вполне понимаете его, когда в ответ на вырвавшееся у Паульсона при виде Мюнхена восклицание: "Какой огромный город!", Ибсен с горечью замечает: "В меньшем нельзя и жить!".

Там, в этих больших торгово-промышленных и умственных центрах, все-таки больше простора и воздуха, меньше условностей, а главное, меньше этой характерной для мелкобуржуазных городов нравственности и благопристойности, удушливой, как копоть плохой лампы, липкой и клейкой, как густой сахарный сироп, как воздух, проникающей чрез все поры и пропитывающей все отношения - семейные, родственные, любовные, дружеские...

До сердцевины изъеденное рутиной, вековой косностью, провинциальное мещанство пугается всяких нововведений: какая-нибудь новая железная дорога заставляет его с опасением взирать на будущее: ведь до железной дороги "здесь было так спокойно и мирно!" - жалуется г-жа Берник ("Столпы общества"). Если так обстоит дело с железной дорогой, то с новыми идеями и совсем плохо. Да и для чего они обществу? "Ему вполне достаточно хороших старых, которые уже всеми признаны" ("Враг народа").

Не терпя новизны, мещанство не выносит также никакой оригинальности, независимости, даже простой своеобразности. Оно беспощадно давит малейшие проявления этих качеств. "У тебя страсть, - поучает оно д-ра Штокмана устами своего бургомистра, - всегда прокладывать себе свой путь, а это в благоустроенном обществе мало допустимо. Отдельная личность должна подчиняться своему целому"...

В то время как промышленные феодалы, под пятой которых стоят десятки тысяч людей, владыки и законодатели биржи, великие "потрясатели" всемирного рынка, словом, всемогущие диктаторы современного торгово-промышленного мира слишком отчетливо сознают свою силу, чтобы маскировать свое действительное отношение к жизни и людям, - средняя буржуазия, наоборот, не выносит оголенности этих отношений, не в силах смотреть открыто в глаза делу рук своих: ее пугает трение составных частей ею же приводимого в движение буржуазного механизма, и она пытается смягчить это трение, употребляя для смазки затхлое масло лицемерного сентиментализма. В безнравственном большом свете - "какую цену имеет там человеческая жизнь? - вопрошает адъюнкт Рерлунд, эта воплощенная совесть местного общества: - там с человеческими жизнями обращаются, как с капиталами. Но ведь мы, смею думать, стоим на совершенно иной нравственной точке зрения" ("Столпы общества"). Еще бы!..

Стоя на пограничной меже между высшими классами общества и его низами, среднее и мелкое мещанство не прочь опереться на эти низы, говорить от их имени, - но все это делается, разумеется, не всерьез.

- Ну, а политическое воспитание народа путем самоуправления - об этом вы не подумали? - спрашивает редактор Гауштад типографа Аслаксена.

- Когда человек достиг известного благосостояния и должен его оберегать, то он не может обо всем думать, г-н Гауштад, - с излишней откровенностью отвечает умудренный в "школе жизни" типограф ("Враг народа").

Вообще у Аслаксена можно многому научиться. Его девиз: "умеренность - первая гражданская добродетель". Его индивидуальность совершенно утопает в социальном типе; он силен силою "сплоченного большинства", он говорит не иначе как от имени этого сплоченного большинства, от имени "мелких собственников", от имени домовладельцев...

Те лицемерно-либерально-умеренные принципы, которые руководят Аслаксом, пропитывают все мещанство. Это они заставляют мещанское общество - при всей его ненависти ко всему новому, оригинальному и "неблагопристойному" - старательно избегать оголенных мер репрессий; как-никак мымрецовский\* принцип "тащить и не пущать" вычеркнут из мещанского обихода. Мещанство действует более косвенно, хотя не менее действительно. В

другой политической обстановке д-р Штокман, в качестве "врага общества", подвергся бы насильственной изоляции. Культурное мещанство поступает иначе. Оно бойкотирует своего врага. Оно увольняет его от должности (наниматель и нанимаемый "свободны" в своих отношениях), оно отказывает ему от квартиры, лишает его дочь уроков, высылает его мальчиков из школы, наконец, оставляет без должности человека, случайно уступившего Штокману для собрания свою квартиру. "Без кнутика, без прутика" оно верно достигает своей цели. Оно изолирует своего врага почти так же верно, как если бы выслало его в какие-нибудь "отдаленные места".

/\* Глеб Успенский. "Будка". Собр. соч., т. I, стр. 727. Изд Павленкова. Ред.

Если буржуа космополитического типа свободомыслящ, по крайней мере был таким еще недавно, то провинциальный мещанин, наоборот, всегда находил необходимым стоять на защите религии, надеясь в то же время на защиту с ее стороны. Пастор занимает во многих драмах Ибсена не последнее место. Готовясь совершить гнусный поступок - отпустить своего "друга" на судне, которому грозит неминуемая гибель, лишь бы обеспечить себя от возможных разоблачений, - консул Берник ищет утешения себе в... религии. И, надо сказать, находит. Адъюнкт Рерлунд говорит ему - разумеется, от имени религии: "Дорогой мой консул, вы почти что слишком совестливы. Я полагаю, что если вы положитесь на волю providения"... ("Столпы").

Все разнообразные и нередко противоречащие друг другу "моменты" мещанского житья удерживаются в относительном равновесии при помощи испытанного цементирующего "идеологического" материала - лицемерия. Послушайте, что говорит человек, променявший любимую девушку на приданое, без жалости порвавший при этом с несчастной певицей, брошенной потом мужем и умершей в нищете, поддерживающий клевету на друга для поправления своих финансовых дел, готовый утопить этого друга для упрочения собственного благополучия, словом, знакомый уже нам "столп общества" консул Берник: "О, ведь семья - основа общества. Уютный, домашний очаг, достойные и верные друзья, небольшой замкнутый кружок, в который не вторгаются никакие злокозненные элементы"... Главное, конечно, чтоб не было "злокозненных элементов".

Что представляет собою этот священный мещанский "семейный дом", достаточно известно. Один писатель остроумно влагает в уста мещанина такие слова: "Мой дом - моя крепость, а я: оной крепости комендант!" - Как часто приходилось, по словам Паульсона, самому Ибсену "иметь дело - и в книгах и в проповедях - со строгими словами Павла, гласящими, что муж должен быть главой и господином, а жена его всепокорнейшей служанкой". Даже столь исключительный человек, как д-р Штокман, этот одиноко стоящий борец с пошлостью мещанского большинства, говорит своей жене такую типично-мещанскую пошлость: "Что за глупости, Катерина! Пойди-ка лучше, займись своим хозяйством, а мне предоставь заботу об общественных нуждах".

Незачем, конечно, прибавлять, что с благоговейным культом семьи мирно уживается, как бы дополняя его, самый основательный разврат - разумеется, на стороне. "Вы знаете, - говорит художник Освальд пастору, - когда и где я видал в кругу художников безнравственность? Это бывало тогда, когда кто-нибудь из наших соотечественников, примерных отцов и супругов, приезжал туда (в Париж), чтобы посмотреть на новые порядки... Эти господа рассказывали нам (художникам) о таких местах и о таких вещах, о которых нам и не снилось" ("Провидения").

В виде последнего штриха к этой беглой характеристике норвежской провинции приведем интересный анекдот, сообщаемый Паульсоном.

В театре одного норвежского городка выступала неизвестная публике певица, и чопорная мещанская публика, несмотря на свое восхищение, не решалась ей аплодировать. Каждый боялся, что его личное впечатление не консонирует с впечатлением большинства, и все с напряженным вниманием следили за поэтом Вельгавеном, признанным авторитетом, который, потешаясь над публикой, сидел в полной неподвижности. Но вот Вельгавен приподнял руки для аплодисмента - и весь зал огласился дружными рукоплесканиями. "Публике был подан знак, что она может довериться своему впечатлению и дать исход чувству восхищения!"

Такова эта страшная, удушливая общественная атмосфера, невыносимая для здоровых человеческих легких.

Горе тому, кого судьба наделила в этой среде сильно выраженной оригинальностью, широкими запросами, - он обречен на полное одиночество. "Наше великое мучение, - говорит Гюи де Мопассан, - заключается в том, что мы постоянно одни, и все наши усилия, все наши действия направлены лишь к тому, чтобы избежать этого одиночества" ("Одиночество"). "Самый могущественный человек, - возражает угрюмый норвежец, - это тот, кто на арене жизни стоит совсем одиноко!" (Ибсен. "Враг народа").

Это противоречие проходит по всему творчеству названных писателей, сходных в своей исходной точке - ненависти к мещанству.

В то время как чувство одиночества - основная нота скорбных стонов Мопассана, больного певца разлагающегося мещанского общества Франции, - большинство драм Ибсена слагается, наоборот, в торжественный гимн, восторженную песнь во славу "одинокостоящих на общественной арене".

В обществе мещанской безличности и лицемерной трусости Ибсен создает культ личной энергии, "пышущей здоровьем совести: так, чтобы сметь то, чего больше всего желаешь!" ("Строитель Сольнес").

Культ одинокой гордой силы принимает у Ибсена иногда прямо-таки отталкивающие формы. Рядом с общественно-наивным ученым Штокманом он готов поставить финансового авантюриста Боркмана, которому автор отнюдь не с целью иронии влагает в уста такие речи: "Вот оно, то проклятие, которое висит над нами, исключительными, избранными натурами. Толпа, масса... все эти посредственности... не понимают нас" ("Джон Габриель Боркман").

Ибсену нет дела до того, что нравственная сила, как и всякая иная, определяется не одной величиной, но и точкой приложения и направлением. Но характерно для Ибсена как для деятеля в сфере мысли, что особенные симпатии его направлены все же в сторону умственной силы. Кто самый опасный враг истины и свободы? - спрашивает он именем д-ра Штокмана. "Это - сплоченное большинство, проклятое либеральное большинство". Какая самая гибельная ложь? Это - "ученье, будто толпа, несовершенные и невежественные существа, имеет такое же право судить, управлять и властвовать, как немногие истинные аристократы ума" ("Враг народа").

Таковы заключительные выводы, "великие открытия" доктора Штокмана.

Нужно ли доказывать, что они не имеют никакой общественной ценности? Каков, в самом деле, будет тот общественный строй, в котором "судить, управлять и властвовать" будут немногие "истинные аристократы ума"? И какой ареопаг займется различием "истинных" от "неистинных"?

Если бы "толпа" призывалась для решения вопроса о верности той или иной научной теории, философской системы, то Штокман-Ибсен был бы тысячу раз прав в своем оскорбительном отзыве о дееспособности "сплоченного большинства". Мнение Дарвина по биологическому вопросу в 100.000 раз важнее, чем коллективное мнение митинга в 100.000 человек.

Но совсем другое дело - поле социальной практики, с ее глубоким антагонизмом интересов, где дело идет не об установлении научных или философских истин, а о постоянных компромиссах между тянущими в разные стороны общественными силами. В этой области подавление большинством меньшинства, если оно соответствует действительному соотношению общественных сил, а не вызвано временно искусственными мерами, несравненно выше, чем подавление меньшинством большинства, совершаемое нередко под покровом сумерек.

Разумеется, это арифметическое, числовое решение общественных вопросов не есть идеал общественной солидарности, - но, покуда общество расчленено на враждебные группы, примат большинства над меньшинством сохраняет все свое глубокое жизненное значение, и апелляция от "плебейского духа" сплоченного большинства к "умственному аристократизму" немногих избранных будет оставлена верховным судилищем жизни "без последствий".

В цитированной драме ("Враг народа") превосходно проявляются две основные черты творчества Ибсена: гениальное воплощение действительности и полное отсутствие ресурсов для положительного идеала.

В течение всей драмы вы с живейшим интересом следите за тем, как чисто технический, по-видимому, вопрос городской канализации зацепляется за имущественные отношения городского населения, создает группировку партий и заставляет д-ра Штокмана перейти от химического исследования воды к анализу социальной среды; вы с затаенным в груди дыханием наблюдаете за нарастанием волны оппозиционного настроения в груди честного ученого, - и в результате

вы останавливаетесь в досадном недоумении, в обидном разочаровании перед скудной проповедью "умственного аристократизма".

А! Мы слышали и слышим эту возвышенную проповедь с разных сторон и не только от поэтов, но и от экономистов и социологов...

Так, например, проф. Шмоллер\*129, как известно, стоит за социальную реформу: он хочет удовлетворения требований рабочих. Но всех ли? О, нет! Существуют, видите ли, требования "справедливые" и "несправедливые". Эгоистические классовые требования очень далеки от профессорской справедливости. Справедливые интересы, это - не классовые интересы, но внеклассовые, сверхклассовые, надклассовые. В основе классовых интересов лежит грубая экономика; сверхклассовые, справедливые интересы возвышаются на этико-правовом принципе "распределительной справедливости" (verteilende Gerechtigkeit). Этот универсальный, недоступный классовым притязаниям принцип гласит: распределение материальных благ и почестей должно соответствовать духовным свойствам людей; поэтому - либо доходы должны быть распределены соответственно добродетели (г. Шмоллер, это опасно!), либо добродетель должна быть повышена на соответственное число процентов у лиц, обладающих высокими доходами (г. Шмоллер, это недостижимо!).

Принцип "распределительной справедливости", этот достойный плод филистерского глубокомыслия, оказался бы, следовательно, обладающим довольно рискованными сторонами, если бы проф. Шмоллер не сделал носителями этого принципа "аристократов образования и духа" - представителей либеральных профессий, чиновничество и т.д. (конечно, сюда же включены и аристократы университетской кафедры). Но раз это сделано, все обстоит благополучно. Классы, участвующие в процессе материального производства и являющиеся, вследствие этого, носителями эгоистических классовых интересов, раз навсегда устраняются от универсального принципа. Классы материального производства настолько же ниже "распределительной справедливости", насколько прирожденные носители этой справедливости выше материального производства.

Если бы "аристократы" университетского образования и профессорско-бюрократического духа не имели своих корпоративных интересов, тогда плод аристократического духа проф. Шмоллера оказался бы действительно лишенной социальной плоти сверхклассовой теорией... Но...

Но так как "распределительная справедливость" отдается в бессмертное содержание "аристократам образования и духа", а эти последние, раз навсегда устраненные от участия в материальном производстве, тем самым поступают на бессмертное содержание к классу материального труда, - принцип "распределительной справедливости" оказывается фиговым листком, плохо прикрывающим нагое бесстыдство профессорско-бюрократических корпоративных вождений.

Проф. Штаммлер\*130, другой "аристократ образования и духа", соревнуя своему собрату, тоже пытается подняться над "социальными стремлениями, вызванными чисто субъективными, порожденными лишь данным положением вещей импульсами, до высоты социальных стремлений, объективно обоснованных, оправданных с объективной точки зрения". С этой похвальной целью аристократ Штаммлер вооружается идеалом "общества свободно желающих людей", как высшей точкой зрения во всех социальных суждениях, как формальной идеей, на основании которой можно решить, "является ли эмпирическое или желаемое социальное состояние объективно оправданным".

С этой минуты проф. Штаммлер стоит уже над классами; история выводит его из сутолоки житейской борьбы и усаживает на судейский трон, как "свободно желающего человека", чтобы во всеоружии универсального объективно-патентованного идеала творить немилостивый суд и суровую расправу над "социальными стремлениями, порожденными данным положением вещей".

Незачем и говорить, что проф. Штаммлеру незачем вставать со своей профессорской кафедры, она же судейский трон, для участия в грубом процессе материального производства. Зато можно поручиться, что если б (о, дивная мечта!) проф. Штаммлер был призван вместе с проф. Шмоллером к заведению интеллигентным процессом материального распределения, то "свободно желающий человек" Штаммлер и "аристократ образования и духа" Шмоллер действовали бы настолько солидарно и неукоснительно, что носители "социальных стремлений, порожденных лишь данным положением вещей", и представители эгоистических классовых интересов, лишенных под собою солидной почвы "этико-правового принципа", получили бы достойную кару за отсутствие в них Штаммлеровского

объективизма и Шмоллеровской добродетели.

Нет, не от корпорации умственных аристократов, которой будет предоставлено "судить, управлять и властвовать", нужно ждать спасения.

Нам необходимо остановиться еще на женщинах Ибсена, которому многие даже готовы преподнести социальный титул "певца женщин". И, действительно, Ибсен уделяет много внимания обрисовке женских характеров, которые в его драмах представляют значительное разнообразие.

В Эллиде ("Женщина с моря"), отчасти в Марте ("Столпы") воплощены мечтательные порывания из тупой жизни - туда, где "небо шире... тучи ходят выше... воздух свободнее...", порывания, на высших стадиях переходящие в желание "ударить в лицо всей этой благопристойности", не останавливающиеся даже перед разрывом с родиной (Лона и Дина в "Столпах") или с мужем и детьми (Нора). Перед нами вереницей проходят самоотверженные женщины Ибсена, всегда живущие для кого-нибудь и никогда для себя (тетушка Юлиана в "Гедде", г-жа Линден в "Норе"), несчастные рабыни супружеского и материнского долга (Елена Альвинг в "Привидениях"), мягкие, болезненно-чуткие, любящие и безвольные, как Кайя Фосли ("Строитель") или г-жа Эльвстед ("Гедда"), наконец, женщина во вкусе *fin de siècle* (конца века), душевно-изломанная, взвинченная декадентка Гедда Габлер.

Целый спектр психических оттенков, целая гамма душевных настроений!.. Но все же мы не можем сказать вместе с г. А. Веселовским\*, будто "в них все оттенки жизни, все стремления, надежды и все слабости современной женщины". Нет! У Ибсена и в этой области есть громадный пробел.

/\* Ал. Ник. Веселовский, историк литературы. - Ред.

Действительность последних десятилетий выдвинула новую женщину, которая тремя головами выше не только Норы, порывающей с мужем вследствие пробуждающегося сознания личного достоинства, но и Норы дальнейшего периода, отдающей свои силы горячей борьбе за женскую эмансипацию.

Эта новая женщина высоко над вопросом о положении женщины привилегированного класса поставила вопрос социальный, вопрос об осуществлении тех форм общественности, при которых не сможет иметь места не только подчинение женщины мужчине, но и вообще подчинение человека человеку. Рука об руку с мужчиной она - не в старой роли вдохновительницы мужа, брата или сына, а в качестве их равноправного боевого товарища - борется за осуществление лучших идеалов современности. Этой женщины Ибсен не знал.

Теперь уже прошло время как мистического культа ибсеновой символики, так и той наглой "критической", "научно-физиологической" и иной брани по адресу великого норвежца, в которой так хорошо набил руку Макс Нордау\*.

/\* Указания медика Нордау насчет ложного изображения Ибсеном хода различных болезней сохраняют, конечно, всю свою силу, - но если бы сапожник знал свои колодки...

История европейского общественного сознания никогда не забудет тех пощечин, тех поистине славных пощечин, которые Ибсен нанес чисто вымытой, хорошо причесанной и блещущей самодовольством мещанской физиономии. Пусть Ибсен не указывает идеалов впереди, пусть даже его критика настоящего далеко не всегда исходит из надлежащей точки зрения, - он все же рукою гениального мастера оголил перед нами мещанскую душу и показал, сколько внутренней дрянности лежит в основе мещанской благопристойности и добропорядочности. Когда вглядываешься в неподражаемые мещанские образы, созданные в лучшие моменты его творческой работы, - невольно приходит в голову мысль, что стоило в одном-двух местах чуть-чуть сильнее нажать кисть, прибавить два-три едва заметных штриха, и социальный тип высочайшего реализма превратился бы в глубокую социальную сатиру.

"Восточное Обозрение" NN 121, 122, 126,  
3, 4, 9 июня 1901 г.

\*128 Паульсен, Джон (род. в 1851 г.) - норвежский писатель, автор многочисленных, но не имевших успеха романов. Паульсен познакомился с Ибсеном в Мюнхене в 1876 г. и получил через его посредство от стортинга (норвежский парламент) литературную субсидию, давшую ему возможность прожить некоторое время в Риме, Париже и Берлине.

\*129 Шмоллер (род. в 1838 г.) - немецкий экономист, представитель историко-этической школы в политической экономии. Последователи этой школы выступают против манчестерской системы и требуют целого ряда экономических реформ для смягчения существующих классовых противоречий.

\*130 Штаммлер - немецкий юрист и экономист, автор книги "Хозяйство и право", посвященной критике материалистического понимания истории. Автор выдвигает право, как первоначальную и неизбежную категорию, без которой немислимо и самое понятие социального хозяйства. Право представляет собой форму социальной жизни, а хозяйство ее содержание. При оценке социальных явлений во главу должно быть положено понятие цели, а не причины. Установление цели и выбор средств для ее осуществления есть дело свободной личности.